



Евгений Поздеев

Зов зоны: цена жизни

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Зов Зоны

Евгений Поздеев

Зов зоны: цена жизни

«Автор»

2026

Поздеев Е.

Зов зоны: цена жизни / Е. Поздеев — «Автор», 2026 — (Зов Зоны)

Они выжили в Афгане и Чечне. Они познали предательство и потерю. Но есть место, где старые военные навыки значат не больше, чем детские игрушки — Зона отчуждения. Скар и Савча — сталкеры старой закалки, связанные братством, проверенным кровью. Когда сын Савчи оказывается на грани жизни и смерти, а денег на операцию нет, Скар вынужден вернуться туда, где клялся больше не появляться. Его цель — легендарный артефакт «Сердце Зоны». Его попутчица — загадочная девушка Чайка, ищущая пропавшего брата. Их путь лежит через аномальные поля, логова мутантов и территорию враждующих группировок. Но главная опасность — не клыки и не пули, а тайна, которую Зона хранит в самом своем сердце. И цена, которую придется заплатить за желание...

© Поздеев Е., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог.	6
Глава 2	22
Весна 1988 года. Афганистан, провинция Кандагар. Высота 2517.	26
Засада в ущелье. 8 мая 1988 года.	29
Зима 1999 года. Грозный. Окраина.	32
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Евгений Поздеев

Зов зоны: цена жизни

ЧАСТЬ 1.

Пролог.

Ночь над Припятью была не просто тёмной — она была плотной, как старая смола. Луна не показывалась вовсе — тяжёлые свинцовые тучи затянули небо сплошным одеялом, и только редкие, крошечные звёзды пробивались сквозь разрывы, как булабочные уколы. Город спал мёртвым сном — тем сном, который длится уже больше двадцати лет. Скар стоял у южного кордона — там, где бетонный забор, покрытый мхом и въевшейся ржавчиной, переходил в колючую проволоку в три ряда. Проволока была натянута на старых, покосившихся столбах, местами провисала, местами была порвана — кто-то уже проходил здесь до него. И не раз. Он стоял на границе, но чувствовал себя так, будто уже внутри. Ботинки — старые, разношенные берцы, которые помнили и Чечню, и Афган — утопали в жидкой, вязкой грязи, перемешанной с битым кирпичом и золой. Холод пробирался сквозь кожу, заставлял пальцы ног неметь, но Скар не обращал внимания. Привык.

Ветер дул с той стороны — из Зоны. Он нёс запахи, которые Скар научился распознавать ещё годы назад, когда впервые перешагнул этот рубеж. Озон — после недавней грозы или после аномалии, он не мог различить, но знал: озон в Зоне всегда означал опасность. Гнилое железо — въедливое, кислое, оно липло к нёбу, как вкус ржавчины, если лизнуть холодный металл зимой. И ещё — сладковатая, приторная гниль, которую не спутать ни с чем. Она исходила откуда-то из глубины, оттуда, где когда-то были жилые кварталы, школы, детские сады. Теперь там — аномалии и логова мутантов. Скар перевёл дыхание. Пар облачком вырвался изо рта и тут же растворился в темноте. Октябрь в этом году выдался холодным — даже на юге, а здесь, на севере, у самой границы Зоны, уже подмораживало. Трава под ногами была жёсткой, почти жестяной, она скрипела под подошвами, как наждак. Он провёл пальцем по автомату — шершавый, местами потёртый до блеска металл АКСУ был холодным даже сквозь тонкую ткань перчатки. Автомат висел на груди, патрон в стволе, предохранитель снят. Рюкзак за спиной тянул привычно — килограммов тридцать, не меньше. Сухпай на неделю, если экономить; две смены белья; аптечка — не та, что продают в аптеках, а сталкерская, с кровоостанавливающими и промедолом; три полных магазина к АКСУ и один — к обреза, который он оставил Чайке. И старая, потрёпанная карта, на которой Савча нарисовал крестик красным фломастером. «Северо-восток. Старый военный склад. Дальше — Кривая роща. Потом — завод “Южный”. Потом — ЧАЭС». Скар мысленно проговорил маршрут, как молитву. Он знал его почти наизусть, но перепроверял снова и снова. Ошибка в Зоне стоит жизни. Здесь, на краю, время текло иначе. Скар слышал, как стучит его сердце — ровно, тяжело, как насос. Семьдесят ударов в минуту — пульс бойца в состоянии готовности, но без паники. Он слышал, как шуршит трава под ногами — ночью она становилась жёсткой, почти колющей, и каждый шаг отдавался сухим шелестом. Слышал, как где-то далеко-далеко, километрах в двух, завывает псевдопёс — то ли зовёт стаю, то ли просто воет на луну, которой не видно. Вой был низким, горловым, он катился над землёй, проникал сквозь одежду, сквозь кожу, заставлял волосы на руках вставать дыбом.

— Сколько раз я уже стоял так? — прошептал Скар сам себе.

Десять. Пятнадцать. Он сбился со счёту. В первый раз — в 2006-м, когда они с Савчей слышали слухи о Зоне, об артефактах, о деньгах, которые можно заработать. Тогда они были молодыми, злыми, глупыми. Думали, что война их научила всему. Оказалось — ничему. Зона учила заново. И экзамены здесь сдавали кровью. Каждый раз, когда он возвращался, казалось, что это в последний. И каждый раз Зона затягивала его обратно — деньгами, артефактами, тем чувством, которого на гражданке не найти. Ощущением, что ты жив. Что каждый новый день — подарок. Что ты можешь всё. Но сейчас всё было иначе. Сейчас он шёл не за артефактами. Не за адреналином. Не за деньгами. Он шёл за другом. Савча ушёл в Зону четыре дня

назад. Не сказав ни слова. Не попрощавшись. Оставил только короткое сообщение на КПК: «Нам поможет только Исполнитель желаний. Я ушёл в Зону». Скар тогда не поверил своим глазам. Позвонил — телефон молчал. Написал — сообщение ушло, зелёная галочка, потом жёлтый восклицательный знак. Зона глушила связь. Савча думал, что его сын умрёт. Думал, что пятьдесят миллионов — это приговор. Думал, что Скар не сможет помочь. Не успел. Не захотел. Или — что ещё хуже — не захотел, чтобы Скар лез в долги и авантюры ради него. «Глупец», — подумал Скар. — «Ты не знаешь. Ты не знаешь, что Колян уже согласился. Что деньги уже переведены. Что твой Пашка выживет. Что всё будет хорошо».

Он глубоко вздохнул, поправил лямки рюкзака — они привычно врезались в плечи, натёртые до мозолей — и поднял голову к небу. Тучи расступились на секунду, и сквозь разрыв пробился лунный свет — бледный, холодный, неестественный. Он осветил колючую проволоку, ржавые бочки у забора и чей-то старый, брошенный рюкзак, который висел на столбе уже года три.

— Пора, — сказал себе Скар.

И шагнул через границу. Зона приняла его сразу. Воздух стал другим — плотнее, тяжелее, будто кто-то невидимый навалился на плечи. Ветер стих, но не совсем — он превратился в едва уловимое дуновение, которое щекотало затылок и заставляло оглядываться. Тишина стала ватной, давящей на уши. Скар сделал десяток шагов — и Кордон исчез за спиной. Будто его и не было. Будто он всегда был здесь, в Зоне. И всегда будет. Он шёл по едва заметной тропе, которую знал только по памяти. Трава здесь была выше, жёстче — она цеплялась за голенища берцев, шелестела, как шёпот. Где-то слева, метрах в тридцати, за кустами шиповника с чёрными, мумифицированными ягодами, слышалось движение — кто-то пробежал, тяжёлый, неуклюжий. Кабан? Псевдопёс? Скар не стал проверять. Он выключил фонарик на КПК — свет здесь был лишним, он привлекал внимание — и пошёл наощупь, чувствуя тропу подошвами. Зона дышала. Она была живой — старой, мудрой, жестокой. Она помнила каждого, кто ступал на её землю. И она ждала. Скар знал: это будет его последняя ходка. Не потому, что он хотел завязать. А потому, что после неё либо он вернётся с Савчей, либо не вернётся никто. Другого не дано.

Глава 1. Дача — последний мирный день

Был конец июля. Жаркий, душный, тот самый, когда воздух становится густым, как кисель, и каждый вдох даётся с трудом, а любой шаг заставляет пот выступать на лбу через минуту. Солнце висело в зените — белое, раскалённое, безжалостное. Оно выжигало траву на полях, превращая зелёные луга в жёлто-бурые проплешины. Оно заставляло воздух дрожать над асфальтом, как над костром, создавая миражи, в которых деревья казались озёрами, а далёкие дома — кораблями. Оно гнало людей в тень — под кроны яблонь, под навесы веранд, в прохладные подвалы, где даже в самый зной держалось обещанное спасение от полуденного пекла. В такие дни хотелось только одного — лежать в гамаке, пить холодный квас, слушать, как стрекочут кузнечики в траве, и ни о чём не думать. Ни о работе, которая не приносит радости. Ни о деньгах, которых вечно не хватает. Ни о прошлом — том, что не отпускает даже спустя двадцать лет. Ни о Зоне, которая снится по ночам — не как кошмар, а как вызов. Как наркотик. Как единственное место, где ты был по-настоящему живым. Друзья Алексей и Денис — Савча и Скар, как они называли друг друга уже двадцать лет, с тех пор как вместе поступили в военное училище, — вместе с семьями собрались на дачу.

Дача была старой, ещё от родителей Савчи. Деревянный дом с верандой, заросший диким виноградом так плотно, что с улицы было почти не видно стен. Виноград вился по решётчатым опорам, закрывая окна от солнца, создавая внутри зелёный, прохладный полумрак, пахнущий влажной землёй и сладковатым запахом созревающих ягод. Крыша была покрыта потемневшим от времени шифером, кое-где проросшим мхом — ярко-зелёным, мягким, похожим на бархат. Участок в двадцать соток, на котором росло всё: от укропа до яблонь. Старые, раскиди-

стые деревья, посаженные ещё в семидесятые, усыпанные мелкими, кисло-сладкими плодами, которые падали на землю и бродили, наполняя воздух яблочным духом. Грядки с клубникой, которая уже отошла, но оставила после себя запах — сладкий, густой, летний. Кусты смородины — чёрной, красной, белой — с поникшими под тяжестью ягод ветками. И огромный куст крыжовника у забора, колючий, неприступный, как ёж, но щедрый, усыпанный зелёными и розовыми ягодами. Место, где время останавливалось. Здесь не работал мобильный телефон — сеть ловилась только если забраться на чердак и вытянуть руку в сторону шоссе, балансируя на шаткой стремянке. Здесь не было интернета — только старый телевизор «Рекорд» с тремя каналами, которые показывали с помехами, и радиоприёмник, который ловил лишь «Маяк». Здесь не было суеты — только тишина, прерываемая птицами, ветром в листве, детскими голосами и далёким лаем собаки с соседней дачи. Савча любил это место больше всего на свете. После Афгана, после Чечни, после Зоны — здесь он мог выдохнуть. Здесь он был не сталкером, не ветераном, не тем, кто видел смерть вблизи. Здесь он был просто Лёша — муж, отец, хозяин дома с покосившимся забором и вечно текущим краном на кухне.

Женщины хлопотали на кухне и на улице с самого утра. Катя, жена Алексея, — невысокая, круглолицая, с тёплыми карими глазами и руками, которые умели всё: и раны зашивать (она была медсестрой, работала в городской больнице в травматологии, видела такое, что мужчинам не снилось), и пироги печь — такие, что пальчики оближешь, и детей успокаивать одним прикосновением, одним словом. Сейчас она была в цветастом переднике, поверх лёгкого льняного сарафана, с платком на голове, из-под которого выбились непослушные русые кудри, влажные от пота. Она нарезала овощи для салата — огурцы хрустели под ножом, помидоры брызгали соком, красным, как кровь (Скар отвёл взгляд — не любил это сравнение, слишком много крови он видел в своей жизни). Рядом на столе стояла миска с зеленью — укропом, петрушкой, зелёным луком, только что с грядки, ещё мокрая от росы, пахнувшая землёй и свежестью. Девушка Дениса — Настя — помогала ей. С Настей они не были расписаны, но жили вместе уже три года. Она была моложе Кати лет на десять, стройная, смуглая, с длинными чёрными волосами, которые она заплетала в тугую косу, чтобы не мешали, с тонкими пальцами и быстрыми, порывистыми движениями. Настя работала в книжном магазине, любила поэзию — Блока, Ахматову, Цветаеву, — и никогда до конца не понимала, почему Денис иногда пропадает на неделю, а возвращается с новыми шрамами и пустым, отсутствующим взглядом. Она не знала про Зону. Не знала про сталкеров, аномалии и артефакты. Денис рассказывал, что ездит на заработки в Москву — на стройку, грузчиком. И она верила. Потому что любила. И потому что боялась спросить правду.

— Кать, а они долго ещё будут там сидеть? — спросила Настя, кивнув в сторону веранды, где Савча и Скар уже открыли первую бутылку. — Мясо стынет. Я его полчаса назад с мангала сняла.

— Пусть сидят, — улыбнулась Катя, ловко орудуя ножом. — Мужикам надо поговорить. Они редко видятся.

— О чём они могут говорить? — Настя пожала плечами. — У них же всё нормально вроде. Работа, семья, дети. О чём тут говорить?

Катя на секунду замерла. Нож замер в воздухе. Посмотрела в окно — туда, где на веранде сидели двое мужчин, склонившись над столом. Лёша курил, выпуская дым в потолок веранды. Денис смотрел на реку, и лицо его было спокойным — слишком спокойным, будто он видел что-то, чего другие не видят. Потом Катя вернулась к резке.

— Никогда не спрашивай мужчину, о чём он говорит с другом, — сказала она тихо. — Потому что если он скажет правду — ты не захочешь это слышать. А если соврёт — ты расстроишься, что он врёт. Лучше не знать.

Настя не поняла, но переспрашивать не стала. Просто взяла нож и принялась резать хлеб — крупными ломтями, как любил Денис, с хрустящей корочкой, пахнувший ржаной мукой и

тмином. Дети веселились на берегу реки. Река здесь была мелкой — по колено взрослому, по пояс ребёнку, — с песчаным дном, золотистым и чистым, и медленным, ленивым течением, которое едва колыхало водоросли у берега. Вода прогрелась за день почти до парного молока — тёплая, мягкая, пахнувшая тиной, кувшинками и солнцем, которое отражалось в ней тысячами бликов. Пашка, восьмилетний сын Савчи и Кати, был главным на этом берегу сегодня. Шустрый, веснушчатый, с вечно взлохмаченными русыми волосами, которые не приглаживались даже под кепкой, с вечно разбитыми коленками и царапинами на руках. Он носился по берегу босиком, поднимая тучи песка, прыгал с кочки на кочку, искал лягушек в траве, показывал девочкам, как надо кидать камушки, чтобы те скакали по воде, и вообще вёл себя так, будто каждую минуту своей жизни открывает что-то новое. Сейчас он строил плот из старых досок, которые нашёл в сарае. Доски были разного размера — две длинные, три короткие, одна совсем кривая, с торчащим ржавым гвоздём, который Пашка вытащил плоскогубцами, чуть не поранив палец. Он уложил их на земле, пытаясь сообразить, как лучше соединить, ходил вокруг, шурился, прикидывал. Рядом лежали инструменты, которые он утащил из отцовской мастерской, пока Савча не видел: молоток (слишком тяжёлый, он едва поднимал его одной рукой, приходилось держать двумя), гвозди (горсть, сразу рассыпавшиеся по песку, пришлось собирать по одному), моток бельевой верёвки (старой, скрученной, с узлами на концах, которая никак не хотела развязываться) и ржавое шило, которое он не знал, куда приспособить, но взял на всякий случай.

Настя и Аня — дочери Дениса и Насти — сидели на песке рядом и «помогали». Настя, шестилетняя, серьёзная не по годам, с двумя тугими косичками, перевязанными бантами, командовала:

— Не так, Паша! Сначала верёвкой обмотай, потом гвозди забивай! А то доски разъедутся!

— Сама знаю, — буркнул Пашка, но верёвку взял.

Аня, которой только-только исполнилось четыре, с пухлыми щёчками и огромными голубыми глазами, просто сидела, смотрела, как брат и сестра колдуют над плотом, и изредка вставляла своё детское, бесхитростное:

— А можно я гвозди подержу?

— Держи, — Пашка сунул ей три гвоздя в маленькую, пухлую ладошку. — Только не теряй и в рот не бери. Они грязные.

Аня торжественно кивнула, зажала гвозди в кулак и замерла — боялась пошевелиться, чтобы не уронить. Её лицо приняло выражение глубокой, почти взрослой ответственности. Плот получился кривым, неуклюжим, с перекошенной верхней доской и торчащими в разные стороны гвоздями, с верёвкой, которая развязалась через минуту — но он держался на плаву. Это было главное. Пашка толкнул его в воду, ухватился за край, оттолкнулся ногами от дна — и плот качнулся, но не перевернулся.

— Пап, смотри! — крикнул он, отплыв метра на два от берега. Голос его звенел от гордости и восторга. — Я сделал! Мы поплыли!

Савча махнул рукой с веранды, улыбнулся. Широко, открыто, по-детски — так, как он умел только с сыном. Улыбка, которая убирала с его лица все морщины, весь груз прожитых лет, всю тяжесть того, что он видел. На секунду он снова стал мальчишкой — тем самым, который строил кораблики из коры в детдомовском пруду, мечтая уплыть далеко-далеко, туда, где нет воспитателей, нет обид, нет одиночества.

— Молодец, сынок! — крикнул он в ответ. — Только далеко не заплывай! Там, за поворотом, омут начинается!

— Ага! — крикнул Пашка и оттолкнулся шестом от дна — длинной, сухой жердью, которую отломал от старого забора, ободрав руку о ржавый гвоздь, но не заметив.

Шест ушёл в илистое дно, плот качнулся, накренился на правый борт, вода хлынула через край — но выровнялся. Пашка отплыл ещё на метр. Потом ещё. Его звонкий, счастливый голос разносился над рекой, над полями, над лесом, где уже начинала желтеть листва, над всем миром, который казался таким огромным и таким безопасным.

— Я капитан! — кричал он. — Поднять паруса! Отдать швартовы! Полный вперёд!

Настя и Аня смеялись, прыгая на берегу, хлопая в ладоши, поднимая тучи песка.

Катя вышла на крыльцо — вытереть руки о передник — и посмотрела на реку. Улыбнулась, глядя на сына. В её глазах стояли слёзы — не грусти, а счастья, того самого, щемящего, когда смотришь на своё продолжение и не веришь, что это чудо — твоё.

— Какой же он у тебя, Лёша, — сказала она мужу, когда тот подошёл обнять её за талию, прижимая к себе. — Вылитый ты.

— Мой, — ответил Савча, целуя её в макушку. — И твой. И больше ничей.

— Он весь в тебя. Такой же упрямый, такой же шумный, такой же... живой. И улыбка твоя.

— А кудри — в тебя, — улыбнулся Савча. — И глаза — тоже. И нос — папин.

— Нос — дедушкин, — поправила Катя. — Твоего отца. Я на фотографии видела.

Савча помолчал секунду. Отца он не помнил. Тот ушёл, когда Алексею было три. Остался только запах — табак и дешёвый одеколон «Шипр», который потом, много лет спустя, Савча случайно унюхал в переходе метро и чуть не разрыдался посреди людной толпы.

— Наверное, — сказал он тихо. — Наверное, похож.

Савча и Скар сидели за столом на веранде. Стол был старым, ещё советским, с выдвижными ножками и столешницей, покрытой клеёнкой в цветочек. Клеёнка местами протёрлась до дырок, местами была заклеена скотчем, на ней виднелись тёмные круги от чашек и жёлтые пятна от горчицы — но это было домашнее, родное, и менять её никто не собирался. Она помнила столько семейных обедов, сколько сам дом не помнил. Перед ними стояла початая бутылка водки — «Пять озёр», простая, мягкая, без нареканий, из ближайшего сельпо, — и две тарелки с закуской: солёные огурцы (хрустящие, с укропом и чесноком, из Катиной закатки, банку которой она открыла специально к приезду), сало с прожилками (тонко нарезанное, с чёрным перцем, тающее на языке, как мороженое), чёрный хлеб (пропечённый, с хрустящей корочкой, пахнущий ржаной мукой и тмином, только что из пекарни на окраине города). Они не торопились — пили медленно, маленькими глотками, закусывали, смотрели на детей, на реку, на небо, которое на западе уже начинало зеленеть закатом, обещая тёплую, звёздную, безветренную ночь.

— Хорошо, — сказал Савча, откидываясь на спинку стула. Стул жалобно скрипнул — Савча был крупным, грузным, и годы давали о себе знать, наливаясь тяжестью в плечах, в пояснице, в коленях. — Как в старые добрые. Помнишь, как в Афгане? Тоже иногда выдавались такие дни. Тишина. Солнце. Никто не стреляет.

— Помню, — кивнул Скар. Но в голосе его не было ностальгии — только спокойная констатация факта. Он не любил вспоминать войну. Не потому, что боялся — а потому, что хорошего там было мало, а плохое не хотелось беречь. Оно и так бредило само, по ночам, когда не спится. — Только тогда мы не водку пили, а спирт из фляги. И гречку с тушёной ели, а не шашлык с барбекю.

— Ну, и то верно, — усмехнулся Савча. — А помнишь, как мы в Чечне на крыше сидели? В Грозном, после штурма. Вокруг руины, вонь, трупы на улицах, через дорогу снайпер сидит, ждёт, когда кто-нибудь высунется. А мы сидим на той крыше, кушим и чай пьём. Из той самой фляжки, которую ты с Афгана привёз.

— Тот чай был на три четверти спирт, — сказал Скар, и уголки его губ дрогнули в подобии улыбки. — Мы тогда три дня не спали. Зачищали квартал. Там, в подвалах... — Он не договорил. Не надо было.

— И выжили.

— И выжили, — согласился Скар.

Они помолчали. На веранду залетел шмель — грузный, мохнатый, с толстым брюшком, золотисто-чёрный, — покружил над тарелкой с огурцами, над бутылкой, над их головами, пожужжал, как маленький вертолёт, и улетел, растворился в зелени винограда, в вечернем свете. Где-то вдалеке, на соседней даче, заиграла музыка — старая «Мурка», блатная, хриплая, с аккордеоном и надтреснутым голосом певицы. Кто-то отмечал день рождения — слышались крики, смех, звон посуды, визг детей.

— Думаешь, мы правильно сделали, что завязали с Зоной? — спросил Савча, покрутив в пальцах пустую рюмку. Он смотрел на неё, на то, как солнечный блик скользит по граням, и не поднимал глаз. — В смысле — что ушли?

— Правильно, — ответил Скар без паузы. — Мы уже не молоды, Савча. Нам по сорок. Спина болит по утрам, колени скрипят, как несмазанные петли, и раны ноют к погоде. Мы заработали достаточно, чтобы больше не рисковать головой.

— Достаточно — это сколько? — Савча посмотрел на него. Взгляд был серьёзным, даже тяжёлым — тот самый, командирский, который Скар помнил по Афгану, когда Савча вёл их через минные поля. — Дом, дача, машина. Копейки, Скар. Я не знаю, сколько проживу, но знаю, что на эти деньги не проживу.

— А что тебе ещё нужно? — Скар налил себе воды из графина, сделал глоток. Вода была тёплой, пахла железом и мятой — с дачного огорода.

— Детям образование дать. На свадьбы накопить. На старость отложить. — Савча вздохнул, тяжело, на всю грудь. — В Зоне за один удачный рейд можно было получить больше, чем за год работы на гражданке. За месяц — как на гражданке за пять лет. Там деньги лежат под ногами, если знать, где смотреть.

— Или не получить ничего. Или получить пулю. Или аномалия размажет по земле, и никто не найдёт даже костей. Или мутант сожрёт, и даже не подавится. Или радиация, которая убьёт не сразу, а через десять лет — лейкозом, раком костей — и ты будешь медленно, мучительно гнить заживо, и врачи разведут руками.

— Не учи, — усмехнулся Савча. — Я сам знаю, где бегать, откуда прыгать и в кого стрелять. Я Зону знаю, как свои пять пальцев. Как тот лес, где мы в детдоме прятались от старших.

— Зона не лес, — сказал Скар. — Лес можно выучить. Зону — никогда.

Они снова замолчали. Водка кончилась — Савча вытряхнул последние капли в свою рюмку, выпил, поморщился. Скар достал из-под стола вторую бутылку — «Русский стандарт», подороже, из магазина в городе, которую припрятал на чёрный день. Откупорил, разлил по рюмкам.

— За нас, — сказал он, поднимая рюмку. — За то, что живы. За Афган, за Чечню, за Зону. За всех, кто не вернулся.

— За Пашку, — сказал Савча. — Чтобы он вырос достойным человеком. И никогда не узнал, что такое война.

Они выпили. Водка обожгла горло, прошла в грудь теплом, растеклась по телу, отпуская напряжение в плечах, расслабляя затекшие мышцы, снимая ту невидимую, но тяжёлую броню, которую оба носили с собой всегда, даже в мирной жизни, даже на даче, даже в кругу семьи. Скар крякнул, закусил огурцом — хрустко, сочно, с укропным духом, с рассолом, брызнувшим на рубашку. Катя вышла на веранду с пирогом. Горячий, румяный, с яблоками, посыпанный сахарной пудрой, которая оседала на пальцах белой мукой и таяла на языке, сладкая, как детство. Пирог пах яблоками, корицей, ванилью и чем-то домашним, что нельзя купить ни в одном магазине, — пах домом.

— Мальчики, идите к столу, всё готово, — сказала она, улыбаясь. Улыбка у неё была добрая, открытая, такая, от которой на душе становилось тепло — даже если до этого было

холодно, даже если в кармане ни копейки, даже если завтра снова Зона, снова риск, снова страх. — Шашлык уже на столе, салаты, соленья. Настя, помоги мне тарелки донести.

— Сейчас, — сказал Савча. Потянулся к ней, обнял за талию, притянул к себе. Вдохнул запах её волос — яблоко, выпечка и немного пота, честный, живой, настоящий. — Спасибо, Катюш.

— Не за что, Лёша. — Она провела рукой по его коротко стриженным волосам, по седине на висках, которой раньше не было, по морщинам, которых он не замечал в зеркале. — Это ваш день. Вы заслужили. Оба.

Настя вынесла шамплык на большом блюде. Мясо было нанизано на старые, почерневшие от огня шампуры — крупными кусками, с луком и перцем, с золотистой корочкой, из которой сочился сок, капая на угли и шипя, когда Настя несла блюдо к столу. Запах поплыл по всей веранде, смешиваясь с запахом пирога, левкоев из палисадника, нагретой за день земли и дыма от мангала.

— Мясо готово! — объявила Настя, ставя блюдо на стол. — Ешьте, пока горячее.

Савча протянул руку к шампуру — Скар схватил его с другой стороны. Схватились за один кусок, как в детстве, когда дрались за последнюю конфету в детдоме, засмеялись одновременно — громко, радостно, как мальчишки.

— Оставь, — сказал Скар. — Я первый увидел.

— Я первый схватил, — возразил Савча, не отпуская.

— Всё равно не отдам. Не в Афгане.

— И не в Чечне.

Они с минуту смотрели друг на друга — с той старой, братской усмешкой, которую не объяснить словами. Два ветерана, два сталкера, два друга, которые прошли через огонь, воду и медные трубы. Потом отпустили одновременно, взяли по другому куску, от соседнего шампура. Катя и Настя переглянулись, улыбнулись. Настя покачала головой — мол, мужчины, вечные дети. Катя взяла с блюда кусочек мяса, положила на тарелку Ане, которая уже проснулась и прибежала на запах, сонная, с растрёпанными косичками. Идиллия длилась ещё полчаса. Дети вылезли из воды — мокрые, счастливые, с синими от холодной реки губами, с песком в волосах и в ушах. Пашка завернулся в большое махровое полотенце, которое накинула на него Катя, и стоял на берегу, дрожа, но улыбаясь во весь рот, показывая отцу, как далеко он заплыл. Настя и Аня бегали по траве, путаясь в полотенцах, визжали, когда мама пыталась их поймать и вытереть насухо, дурачились, падали в траву и снова вскакивали.

— Пап, смотри! — кричал Пашка, сбрасывая полотенце и показывая отцу, как он умеет плавать кролем — не умел, конечно, просто барахтался, поднимая тучи брызг, работая руками как мельница, но это было неважно. — Я как тренер! Я их научу плавать! Каждой по очереди! Сначала брасом, потом кролем, потом на спине!

Савча смотрел на сына. И в его глазах было столько любви, что Скар на секунду отвернулся — стало неловко, почти больно. Не потому, что он завидовал. Скар не умел завидовать. Просто он сам никогда не хотел детей. Боялся. Знал, что может не вернуться. Из Афгана вернулся — чудом, когда из четырёхсот человек в их батальоне выжило меньше сотни. Из Чечни — тоже чудом, когда его бронежилет пробил осколок, застрявший в миллиметре от сердца. Из Зоны — каждый раз с молитвой, хотя не верил в Бога. А если не вернётся? Оставить ребёнка одного? Как его оставили в детдоме? Как Савчу оставила мать, умирая от рака? Нет. Лучше не надо. Лучше не рисковать. Лучше не любить так сильно, чтобы бояться потерять. А Савча — вернулся. Из Афгана, из Чечни, из Зоны. Вернулся и зажил нормальной жизнью — женой, работой, домом, дачей. И Пашка был его наградой. Наградой за всё — за кровь, за пот, за страх, за боль, за годы, прожитые на пределе. За всех, кто не вернулся.

— Ты смотришь на него, как на чудо, — заметил Скар, возвращаясь к столу. Взял кусок шамплыка, подул, откусил.

— Он и есть чудо, — ответил Савча, не отводя взгляда от сына. — В него столько жизни вложено. И моей, и Катиной. И моих родителей, которых я не знал, но которые, наверное, где-то там, на небесах, смотрят и радуются.

— Ты стал сентиментальным, — усмехнулся Скар.

— А ты нет?

— Я... — Скар запнулся, усмехнулся. — Я стараюсь не думать.

— А зря, — сказал Савча, поворачиваясь к нему. — Мы уже не в Зоне, брат. Мы на гражданке. Здесь можно любить. Здесь можно бояться за тех, кто дорог. Здесь можно быть сентиментальным. Здесь можно жить, Скар. По-настоящему.

Скар ничего не ответил. Только сжал челюсти, отвёл взгляд. Посмотрел на реку, на детей, на небо, которое уже начало розоветь, на мир, который казался таким хрупким и таким бесконечно дорогим. А потом случилось то, что случилось. Крик разорвал тишину. Он был пронзительным, детским — высоким, заходящимся на одной ноте, полным боли и ужаса, полным того животного, первобытного страха, который не выдумать, не сыграть, не повторить. Крик, от которого кровь стынет в жилах, сердце пропускает удар, а руки делаются ватными. Скар и Савча вскочили одновременно — один из-за стола, второй от перил веранды. Стулья упали, загремели, покатались по доскам. Рюмки опрокинулись, водка разлилась по клеёнке, впитываясь в газету, в скатерть, оставляя тёмные мокрые разводы, похожие на пятна крови.

— Пашка! — закричала Катя. Она стояла у крыльца с тарелкой в руках, лицо её было белым, как та сахарная пудра на пироге, которая всё ещё белела на её пальцах. Тарелка выпала из рук, разбилась о ступеньки, осколки разлетелись в стороны.

— Там! — указала Настя куда-то в сторону реки. Рука её дрожала, голос сорвался на фальцет, на всхлип. — Там, за ивой! Пашка упал! Пашка упал с дерева!

Они побежали к реке. Скар бежал первым — выучка, годы, условные рефлексy, вбитые в кровь, в мышцы, в каждое волокно, в каждую клетку. Ноги сами знали, куда ставить, где яма, где кочка, где корень. Лёгкие работали ровно, ритмично, как мотор. Савча — за ним, тяжелее, грузнее, но быстрее, чем можно было ожидать от человека его комплекции и возраста. Адреналин гнал его вперёд, сжигал лишние килограммы, дёргал ноги из земли, заставляя перепрыгивать через кочки, через корни деревьев, через разбросанные игрушки, через лужи, оставшиеся после утреннего полива. Пашка лежал на земле у старой ивы. Ива была огромной, старой, с раскидистой кроной и толстым, в три обхвата, стволом, покрытым глубокими трещинами. На её ветвях висели старые качели — доска на верёвках, на которых никто не качался уже года три. Одна из нижних ветвей была сломана — свежий излом, светлая древесина, ещё не успевшая потемнеть. Рядом — обломок бревна, торчащий из земли под углом. Бревно было старым, полусгнившим, с одного конца заострённым — кто-то когда-то вкопал его, как подпорку для забора, но забор давно сгнил и рухнул, а бревно осталось — ждало своего часа. На бревне — кровь. Много крови. Свежей, яркой, почти оранжевой на ярком солнце, которое всё ещё светило, равнодушное и злое. Она была везде: на траве, на рубашке Пашки (белая футболка с динозавром, купленная месяц назад в «Детском мире», динозавр был зелёным, с большими зубами), на его руках, на его лице, на шее, в волосах. Мальчик был без сознания. Глаза закрыты, веки неестественно бледные, почти прозрачные, с синими прожилками в уголках. Лицо бледное, как бумага — блее, чем листы на столе, блее, чем больничная простыня, блее, чем полотно, которым укрывают мёртвых. Губы синие, тонкие, сжатые, с белой каймой засохшей слюны. Грудь поднималась и опускалась — едва заметно, с переборами, иногда замирая на секунду, иногда вздымаясь слишком часто.

— Не трогать! — рявкнул Скар, отталкивая Катю, которая кинулась к сыну. Она замерла на месте, как вкопанная, руки вытянуты вперёд, лицо искажено — не плач, не крик, а какой-то животный, древний ужас, который не выразить словами. — Позвоночник! Не двигать! Никому не двигать!

Он опустился на колени рядом с Пашкой — колени хрустнули о мелкие камешки и сухую землю, обожгло через штанину, — провёл руками над телом, не касаясь. Оценил.

Голова в неестественном положении — запрокинута назад и чуть влево, как у куклы, которую вывернули не в ту сторону. Шея выгнута дугой — Скар не мог понять, это мышцы застыли или позвонки. Левая рука вывернута — плечо, сустав, возможно, просто вывих, возможно, перелом со смещением, но рука лежала под телом, под неестественным углом, пальцы сжаты в кулак.

Ноги — ровные, вытянутые, но в них не чувствовалось тонуса. Скар осторожно коснулся левой ступни — нога безвольно качнулась, как резиновая, как чужая, как мёртвая.

— Одна из девочек сказала, что он упал с дерева, — всхлипнула Настя. Она стояла позади Кати, прижимая к себе Аню, которая уже не плакала — замерла, смотрела широкими, испуганными глазами, не понимая, что происходит. — С высокой ветки. Вон с той, — она показала на сломанную ветку, метрах в трёх над землёй. — Я видела, как он полез, кричала, чтобы слез, но он не слушался. А потом... потом треск... и он упал. Вот на это бревно... спиной... я слышала, как хрустнуло...

Скар выругался сквозь зубы — коротко, матерно, одними губами, чтобы дети не слышали, чтобы женщины не услышали. Савча стоял над ним, тяжело дыша, побелевший, как его рубашка.

— Савча, — сказал Скар, не оборачиваясь. Голос был железным, командирским, не терпящим возражений — таким он командовал взводом в Афгане, таким приказывал в Чечне, таким спасал людей в Зоне. — Бегом за машиной. «Минивен». Ключи в сейфе, код — день рождения Пашки, ты знаешь. И аптечку — большую, которая в доме, под раковиной, в синем ящике. Я её сам собирал. И палки. Две широкие, ровные. Любые — от швабры, от лопаты, от полки. Быстро!

— Что с ним? — голос Савчи дрожал. Дрожал так, как Скар не слышал никогда — ни в Афгане, когда пули свистели над ухом, ни в Чечне, когда они сидели в подвале под обстрелом, ни в Зоне, когда на них шёл кровосос, и, казалось, выхода нет. Дрожал, как у ребёнка.

— Позвоночник, — коротко ответил Скар, не поднимая глаз от Пашки. — Сильно. Если сдвинем неправильно — он никогда не встанет. Не будет ходить. Не будет бегать. Не будет жить нормальной жизнью. Никогда.

Савча побежал. Скар остался с мальчиком. Он слышал, как плачет Катя — не в голос, а тихо, навзрыд, зажимая рот ладонью, чтобы не мешать, чтобы не отвлекать, чтобы не сойти с ума от страха. Слышал, как всхлипывают девочки — Настя пытается успокоить Аню, но у неё самой голос срывается, и она сама вот-вот разрыдается. Слышал, как где-то на соседней даче всё ещё играет та самая «Мурка» — хриплая, пьяная, весёлая, такая неуместная сейчас, что хотелось выстрелить в ту сторону, просто чтобы заткнулись. Звуки отдалялись, как в тумане, превращаясь в один сплошной, неразборчивый гул. Скар сосредоточился на Пашке. Только на нём. Всё остальное исчезло. Пульс — есть. Неровный, слабый, с провалами. Скар прижал два пальца к сонной артерии — под челюстью, где кожа тонкая, где прощупывается каждое биение. Семьдесят — шестьдесят — пятьдесят — снова семьдесят. Аритмия. Брадикардия. Тахикардия. Сердце не знает, в каком ритме биться. Дыхание — поверхностное, частое, со свистом на вдохе и хрипом на выдохе. Воздух входит, выходит, но не так, как надо — похоже, одно лёгкое повреждено, возможно, ушиб или прокол. Скар прислушался — нет, влажных хрипов не слышно. Пока нет. Кровь — артериальная? Венозная? Скар осторожно приподнял край рубашки — футболка прилипла к телу, пришлось отдирать, Пашка не шелохнулся, даже не вздохнул. Рана на пояснице — глубокая, рваная, с неровными краями, с торчащими обрывками кожи. Кровь тёмная, венозная — уже запеклась, края раны начали подсыхать, покрываться коркой. Не сочится, не фонтанирует, не пульсирует. Хорошо. Плохо — рана грязная, в неё попала земля, трава, мелкие камешки, кусочки коры. Сепсис потом. Но потом. «Будем

надеяться, не задета артерия», — подумал Скар. — «И не пробита почка. И позвоночник... не перерублен. Только ушиб. Только отёк. Только компрессия. Только...»

Он не договорил. Не надо. Машина подъехала через три минуты — вечность, которую Скар отсчитывал по ударам собственного сердца. Савча выскочил из «Минивена», не глуша двигатель, дверца осталась открытой, сигнализация запищала, но никто не обратил внимания. В руках у него была аптечка — большая, армейская, ещё из Зоны, зелёная, с красным крестом, потрёпанная, полная, и две доски — от старого стеллажа, гладкие, ровные, без заноз, почти идеальные. Савча дышал тяжело, как после кросса.

— Я нашёл в сарае, — сказал он, протягивая доски. — От полки. Там ещё были, но эти самые ровные.

— Делаем, — сказал Скар. Голос ровный, без паники. — Я держу голову, шею и плечи. Ты — за ноги. Переворачиваем на счёт три. Очень аккуратно, плавно, без рывков. И сразу на доски. Понял?

— Понял.

— Смотреть, чтобы шея не согнулась. Голова, спина, ноги — одна линия. Как струна. Как доска. Как ствол. Понял?

— Понял! — повторил Савча громче. Глаза бешеные, зрачки расширены до предела, дыхание неровное, но руки — не дрожат. Командир взял себя в руки.

— Раз. Два. Три.

Они перевернули Пашку. Мальчик не застонал. Не открыл глаза. Не дёрнулся. Ничего. Значит, глубокое бессознательное состояние — кома или предкома. Плохо. Глубокое бессознательное — это или сотрясение мозга тяжёлой степени, или отёк мозга, или внутричерепное кровоизлияние. Но — не дёргался, не кричал, не сопротивлялся. Значит, позвоночник не сместился ещё сильнее. Значит, спинной мозг не был перерублен движением. Значит, не стало хуже. Уже хорошо. Скар и Савча зафиксировали его на досках — бинтами (Скар накладывал их быстро, профессионально, как учили на курсах первой помощи в Афгане), ремнями (Савча снял с себя брючный ремень, потом содрал с сиденья автомобильный ремень безопасности), верёвками, которые принесла Настя, быстро сбегав в сарай, испуганная, заплаканная, но не истеричная — молодец, держится. Получилось не идеально — одна рука болталась, потому что нечем было зафиксировать, голова была чуть наклонена вбок, потому что шея короткая, а доски широкие, — но лучше, чем ничего.

— Везите в город, — сказала Катя. Она стояла у дверцы машины, бледная, с трясущимися губами, но собранная — медсестра взяла верх над матерью, над женщиной, над человеком. Голос не дрожал. — Я остаюсь с девочками. Настя, закрой дверь, не смотри, заведи Аню в дом, напои её чаем с малиной.

— Мы справимся, — ответил Савча, целуя её в лоб. Губы его были сухими, горячими, потрескавшимися. — Жди. Позвоню, как только что-то узнаю.

— Я знаю.

Они погрузили Пашку в «Минивен». Скар устроился на заднем сиденье, на коленях, прижимая голову мальчика к доскам, чтобы не болталась, держа его за холодную, маленькую руку. Савча сел за руль, включил зажигание, выжал сцепление, включил первую передачу.

— Давай, — сказал Скар.

Савча вдавил педаль газа в пол. Дорога была пустой — воскресенье, дачный сезон, жара, большинство сидели по домам или уже уехали в город с утра, чтобы не жариться на солнце. Асфальт был старым, в трещинах, с рытвинами, с заплатками, которые прыгали под колёсами, но Савча не сбавлял скорость. Сто двадцать. Сто тридцать. Сто сорок. На спидометре стрелка плясала между цифрами — иногда опускалась до девяноста на поворотах, где дорога делала резкую петлю, иногда взлетала до ста пятидесяти на прямых участках, где можно было разогнаться. Савча обгонял фуры и легковушки — сигналиа, мигая фарами, иногда вылетая

на встречную полосу, когда впереди шла медленная машина. Кто-то сигналил в ответ, кто-то кричал, кто-то показывал жесты, кто-то успевал отворачивать в кювет — Савча не видел, не слышал, не замечал. Мир за окном превратился в одно серо-зелёное пятно — деревья, поля, столбы, редкие дома, всё слилось, размазалось, потеряло форму и цвет. Только дорога. Только вперёд. Только в больницу. В салоне было тихо — только шум двигателя, свист ветра в щелях окон и прерывистое дыхание Пашки. Слышал ли он? Скар держал мальчика за руку — маленькую, холодную, с обкусанными ногтями, с царапинами от веток, с содранной кожей на ладони. Кожа была бледной, почти прозрачной, и под ней проступали синие, тонкие вены.

— Он будет жить, — сказал Скар. Скорее себе, чем Савче.

— Должен, — ответил тот. Голос был железным, как броня. — Обязан. Он мой сын. Он должен.

— Держи руль ровнее, — сказал Скар, сжимая пальцы Пашки. — Пашка просит.

— Он без сознания.

— А ты держи.

Савча сжал руль так, что побелели костяшки. В больницу они влетели через сорок минут. Время, которое в обычной жизни заняло бы час с лишним — Савча сократил его на треть. Влетели во двор, сигналив, подкатили к приёмному покою, где уже стояла «скорая» с включённой мигалкой — кто-то вызвал, пока они ехали, Катя догадалась позвонить с дачи, нашла номер в старой записной книжке. Врачи уже ждали — Скар позвонил по дороге, объяснил ситуацию. Сказал коротко, по-военному: «Травма позвоночника, мальчик, восемь лет, падение с высоты, без сознания». На том конце ответили коротко: «Везёте. Готовим операционную».

— Помогите! — крикнул Савча, выбегая из машины. — Сын! Мой сын! Помогите, пожалуйста!

Из приёмного покоя выбежали двое санитаров в голубых костюмах, с носилками. Бегом, не оглядываясь. Открыли заднюю дверцу, увидели Пашку — примотанного к доскам, бледного, с пятнами крови на рубашке — и сразу поняли. Один положил руку на шею мальчика, проверяя пульс, второй развернул носилки.

— Позвоночник? — спросил тот, что проверял пульс.

— Да, — ответил Скар. — Грудной отдел. Падение на бревно.

— Аккуратно берём, на счёт три.

Пашку забрали в операционную.

Савча и Скар остались в коридоре — на пластиковых стульях, под яркими, режущими глаза лампами дневного света, которые гудели ровно, монотонно, как генераторы в Зоне, как старые двигатели на подлодках. Пол был выложен белой, холодной кафельной плиткой, стены выкрашены бледно-зелёной, «успокаивающей» краской — той самой, которая должна успокаивать, но почему-то всегда вызывает тошноту, головокружение и желание выбежать на свежий воздух. Пахло хлоркой — резко, едко, с привкусом не то ацетона, не то аммиака, не то уксусной кислоты. Пахло дешёвым мылом, карболкой и смертью. Скар ненавидел этот запах. Он всегда означал, что кто-то не выживет. В Афгане — полевые госпитали, армейские палатки с красными крестами, запах крови, спирта, йода и гноя. В Чечне — медсанбаты в подвалах разрушенных школ, где ампутировали ноги без наркоза, потому что не хватало лекарств, и крики стояли такие, что казалось, стены рухнут. Здесь, в мирной провинциальной больнице, в ухоженном, чистом, светлом коридоре — то же самое. Только стены белее. Только лампы ярче. Только отчаяние — такое же. Под потолком гудели люминесцентные лампы — четыре штуки, две из них мигали, раздражали, создавали тени на лицах, делали их серыми, больными, похожими на маски. Савча сидел, смотрел на мигающую лампу, не отрываясь, как загипнотизированный.

— Перегорит, — сказал он.

— Что? — не понял Скар.

— Лампа. Сейчас перегорит. Видишь, как мигает? Долго так не может.

Она перегорела через минуту — всхлипнула, погасла, и в коридоре стало темнее, зато тише — исчез тот раздражающий, нервный пульсирующий свет. Над ними остались три — те, что в дальнем конце, у операционной. Их свет был белым, мёртвым, выбеливающим лица до синевы, до прозрачности, до состояния рентгеновских снимков. Савча встал — металлические ножки стула скрипнули по кафелю, звук разнёсся по пустому коридору, как выстрел. Пошёл в туалет — курить, потому что в коридоре было нельзя. Вернулся через пять минут, сел, снова встал. Ходил туда-сюда, как маятник, как привязанный, как зверь в клетке — десять шагов в одну сторону, десять в другую, разворот, снова десять. Скар сидел неподвижно, сцепив руки в замок, смотрел в одну точку на стене — там была трещина, похожая на молнию, на шрам, на его собственную отметину на лице, с которой он жил сорок лет. Трещина шла от потолка до самого пола, тонкая, едва заметная, но если долго смотреть, казалось, что она растёт, ползёт вниз, раскалывает стену.

Сколько времени прошло? Скар не знал. Часы на стене показывали половину седьмого — но когда они приехали, было около пяти. Больничные часы всегда врут. Или время в больнице течёт иначе: минуты тащатся, как телега по бездорожью, часы ползут, как улитки по стеклу, за ними, кажется, можно наблюдать, и они не сдвинутся с места. Каждый шорох за дверью, каждый шаг в коридоре, каждое слово медсестры, проходящей мимо, заставляли дёргаться — не Савчу, Скар держал себя в руках, но внутри всё сжималось, замирало, ждало.

Операция длилась четыре часа. Наконец дверь открылась. Вышел врач — молодой, лет тридцати пяти, с тёмными кругами под глазами, в очках с тонкой металлической оправой, в мятой хирургической шапочке, из которой выбились русые, влажные от пота волосы. Рукава халата были закатаны до локтей, перчатки — сняты, брошены в специальный контейнер, но Скар заметил: на правой перчатке, у большого пальца, запёкшееся бурое пятно. Кровь. Детская кровь.

— Кто родственники мальчика? — спросил врач. Голос был спокойным, профессиональным, усталым — с той особой усталостью, которая бывает после долгой, сложной операции, когда каждый миллиметр, каждый шов, каждый сантиметр — борьба.

— Я отец, — Савча шагнул вперёд. — Алексей Савченко.

Врач снял очки, протёр их о край халата — стёкла запотели от усталости, от жары, от напряжения. Посмотрел на Савчу, потом на Скара, потом снова на Савчу.

— Жизни мальчика ничего не угрожает, — сказал он. — Кровотечение остановили, гематому сняли, ушибы внутренних органов — под контролем, наблюдением. Он выкарабкается. Он сильный.

Савча выдохнул — так глубоко, так шумно, что, казалось, из него вышла вся боль, все четыре часа ожидания, все страхи, все кошмары, которые он успел пережить в этом прокуренном коридоре. Он пошатнулся — Скар подхватил его за локоть, помог сесть на стул. Железная хватка, как в старые годы. Но врач не закончил.

— Однако, — сказал он, и это «однако» повисло в воздухе, как нож гильотины, как пуля, выпущенная в упор. — Позвоночник повреждён сильно. Очень сильно. Сдавление спинного мозга, смещение позвонков в грудном отделе, компрессионный перелом.

— Он будет ходить? — спросил Савча. Голос сорвался. Не испуг — нет, испуг уже прошёл, остался где-то по дороге, на трассе, когда стрелка спидометра показывала сто пятьдесят. Это было другое. Это было отчаяние.

Врач помолчал. Снял шапочку, провёл рукой по мокрым волосам — они встали дыбом, влажные, спутанные.

— Нужно сделать несколько операций. Сложных. Дорогих. В Москве или за границей. Тут, у нас, в районной больнице, нет ни оборудования, ни специалистов, ни лекарств. Если всё

пройдёт успешно — да, будет ходить. С поддержкой сначала, с палочкой, но будет. Если нет... — Он не договорил. Не надо было.

— Если нет — что? — спросил Скар.

— Если нет — он останется прикован к постели до конца жизни. Паралич нижних конечностей. Полный. Без шансов на восстановление. Колясочник.

Савча пошатнулся. Не упал — Скар подхватил его за локоть, за плечо, за поясницу, удержал. Как в Афгане, когда рядом рванула мина и Савчу контузило, но он не упал — Скар подхватил, поставил на ноги, заставил идти. Как в Чечне, когда Савчу ранило в плечо, и он истекал кровью, но нёс пулемёт — Скар подхватил с другой стороны, и они шли вместе. Как в Зоне, когда Савча попал в аномалию, и его выбросило вверх — Скар поймал его, не дал разбиться. Железная хватка. Братская.

— Сколько? — спросил Савча. Губы его тряслись.

— Пятьдесят миллионов рублей. Как минимум. Если повезёт с квотой. Может, больше. Может, все семьдесят.

Савча сел на стул. Медленно, согнувшись, будто под тяжестью, которую нельзя сбросить, нельзя переложить, нельзя забыть. Сел, закрыл лицо руками — большими, грубыми, солдатскими руками, которые умели держать автомат, пулемёт, нож, но сейчас они просто тряслись, беззвучно, мелко. Скар стоял рядом. Не знал, что делать. Он умел перевязывать раны, накладывать жгуты, вытаскивать из-под огня. Он умел стрелять, выживать, ненавидеть, убивать, спасать. Но он не умел утешать. Этому в Афгане не учили.

— Мы найдём, — сказал он тихо.

— Найдём, — повторил Савча, не поднимая головы.

Врач ушёл. Дверь операционной закрылась — мягко, почти бесшумно, на пневматике. В коридоре снова стало тихо. Только лампы гудели — три, те, что остались, на дальнем конце, — монотонно, на одной ноте, как похоронный марш. Савча поднял голову. Глаза его были сухими — слёзы кончились, ещё в машине, ещё на трассе. Осталась только пустота. Бездонная, чёрная, пульсирующая.

— Скар, — сказал он.

— М?

— Я не могу потерять его.

— Не потеряешь.

— Я не могу. Он — всё. Он — моя жизнь. Он — Катина жизнь. Если с ним что-то случится... я не знаю, что буду делать.

— Не потеряешь, — повторил Скар. — Я рядом. И мы что-нибудь придумаем.

Он сел на соседний стул — тот самый, на котором только что сидел Савча, металлический, холодный, неудобный. И они долго сидели молча — два старых воина в мирной больнице, два отца (один — настоящий, второй — по праву крови, по праву братства), глядя на закрытую дверь, за которой боролся за жизнь Пашка. Две недели спустя Савча сидел на кухне своей пустой квартиры. Перед ним лежали документы. Свидетельство о собственности на квартиру — трёшка на окраине, с ипотекой, которую он выплачивал уже семь лет. ПТС на «Минивен» — тот самый, на котором он гнал сына в больницу. Свидетельство на дачу — ту самую, где они жарили шашлык, где Пашка строил плот, где всё случилось. Всё это было помечено красным крестиком — продано.

— Продал, — сказал он, не поднимая головы. Голос был пустым, безжизненным, как тот самый коридор в больнице. — Всё. Квартиру, машину, дачу. Получил семнадцать миллионов.

— Маловато, — Скар сидел напротив. На столе стояла бутылка водки — почти пустая, наполовину. Савча не пил из неё уже час, только смотрел.

— Маловато, — эхом отозвался Савча. — Остальное — кредиты. Я взял во всех банках, где можно. Где не можно — тоже взял, через знакомых. Ещё восемь. Двадцать пять есть. Ещё столько же — нет.

— Деньги будут, — сказал Скар. — Я что-нибудь придумаю. У меня есть кое-какие связи. Старые знакомые.

— Что ты придумаешь? — Савча поднял голову. Глаза красные, опухшие, с тёмными кругами до скул, с красными прожилками, с той усталостью, которая бывает, когда человек перестаёт надеяться. — Продать нечего. У меня ничего не осталось, кроме долгов. У тебя — тоже. Не влезай, Скар. Ты и так больше, чем должен был.

— Я продам свою квартиру, — сказал Скар спокойно. Как приговор. Как команду.

— У тебя однушка в панельке. На окраине, как и моя. Её цена — три миллиона, если повезёт, если найдётся покупатель. Это капля в море, Скар.

— Деньги будут, — упрямо повторил Скар.

Он продал свою квартиру через неделю. Сосед купил — молодой парень с ребёнком, хотел расшириться, объединить две однушки. Дали три с половиной миллиона — на пятьсот тысяч больше, чем просил. Парень, наверное, видел, что Скару некуда торговаться. Скар забрал из квартиры только самое нужное: автомат АКСУ — демонтированный, снятый с боевого хранения ещё в Чечне, смазанный, упакованный в брезент, законно ли — не законно, но кому какое дело. Старый КПК, потрёпанный, в трещинах, с потускневшим экраном. И старый рюкзак с артефактами, которые остались с прошлых ходок — бесполезные «слезы», «медузы», один «комар» и два «пальца». Дешёвка, которую никто не купит, но выбросить жалко. Остальное — одежда, книги, старая мебель, фотографии (в том числе и та, с Афгана, где они с Савчей молодые, в форме, с автоматами, улыбаются — тогда ещё умели улыбаться), — всё осталось в пустой, голой квартире. Новый хозяин сказал: «Можешь не выносить, я всё равно ремонт буду делать». Скар кивнул и ушёл. Не оглядываясь. Деньги он принёс Савче в конверте — толстом, бумажном, перетянутом резинкой. Выложил на стол.

— Это всё, что есть, — сказал он. — Шесть миллионов. Плюс твои двадцать пять — тридцать один. Осталось девятнадцать. Ещё девятнадцать.

— Осталось девятнадцать, — повторил Савча. — Как лотерейный билет. Как игровой автомат — бросил монетку и ждёшь. Или выиграешь, или проиграешь. Или чудо.

— Чудес не бывает, — ответил Скар. — Бывает работа. И связи. И долги. И умение не сдаваться. Я найду.

Он ушёл, хлопнув дверь. Савча остался сидеть за столом, сжимая в пальцах пустую рюмку, глядя на конверт с деньгами. Катя зашла через час — с работы, уставшая, в мятой одежде, с синими кругами под глазами. Она работала в травматологии, день был тяжёлый — два перелома, одна ампутация после аварии. Но всё это меркло перед тем, что ждало её дома. Она увидела мужа — он не плакал, не пил, просто сидел, смотрел в одну точку на стене, туда, где висела фотография Пашки в рамке. Пашка на фото улыбался, показывая два передних зуба, которые только что выпали, и держал в руке своего впервые в жизни пойманного караса.

— Лёша, что с тобой? — спросила Катя тихо, садясь рядом.

— Ничего, — ответил он. — Всё нормально.

Но она знала: это была ложь. И эта ложь была тяжелее всего, что он когда-либо говорил. Она обняла его, прижала к себе, и они долго сидели так — в пустой кухне, в пустой квартире, которую уже продали незнакомым людям, которые придут сюда через неделю и сделают в ней ремонт, и будут жить, и не будут знать, что здесь когда-то мальчик учился ходить заново. Трубка зазвонила через три дня. Скар сидел в своей пустой квартире — голые стены с дырами от гвоздей, матрас на полу (единственное, что он оставил себе на первое время), старый телевизор «Горизонт», который не работал уже года два, стоял в углу, накрытый пыльной простыней. На стене висел автомат — АКСУ, демонтированный, снятый с боевого хранения, чистый,

смазанный, готовый к бою. Скар смотрел на него и думал о Зоне. О том, как он клялся себе, что больше никогда туда не вернётся. О том, как он клялся Савче, что завязал. О том, как легко идут такие клятвы, когда речь идёт о твоей собственной шкуре, и как трудно их держать, когда речь идёт о чужой жизни. Номер был незнакомый, московский. Семь цифр, которые Скар не узнавал.

— Слушаю, — сказал он.

— Скар, старый хрыч, узнаёшь?

Голос был хриплый, прокуренный, с той особой сипотцой, которая бывает у людей, выку- ривающих по пачке в день последние тридцать лет. Но Скар узнал его сразу — через двадцать лет, через тысячи голосов, через шум войны и мирной суеты. Узнал, как узнают родного чело- века, даже если не видел его две декады.

— Колян? — он сел на матрасе, сжимая трубку так, что побелели костяшки. — Ты где пропадал? Я думал, ты сгинул. В девяносто пятом, говорят, твою машину расстреляли на трассе. Я на поминках пил, Колян! Я стакан поднимал за упокой твоей души!

— Машину расстреляли, это да, — усмехнулся голос. — А меня в той машине не было. Я в ту ночь в другом месте был. С девкой. — Он хрипло, коротко засмеялся, и Скар вдруг снова увидел его — молодого, дерзкого, в чёрном берете, с автоматом на груди, с вечной усмешкой на обветренном лице. — Бизнес, знаешь. Нефть, лес, недвижимость, по мелочи. Москва, Питер, Лондон. Думал, ты забыл мою рожу.

— Не забыл. — Скар провёл рукой по лицу, по шраму, который помнил всё. — Ты мне в Чечне ногу спас — я помню. Если бы не ты, я бы там и остался, в том подвале, с перебитыми артериями.

Колян помолчал. Слышно было, как он затягивается сигаретой — шуршание табака, шипение горения. Скар представил эту картину: Колян сидит в кожаном кресле, в кабинете с видом на Кремль, на столе — макет нефтяной вышки, на стенах — охотничьи трофеи. Курит «Парламент» и шурится сквозь дым.

— Слушай, Скар, — сказал он, и голос его стал серьёзным, без усмешки. — Я узнал про твоего друга. Про Савчу. И про его пацана. Есть у меня люди в Москве, которые следят за такими вещами. За трагедиями. В Москве всё узнаёшь, если есть деньги. А у меня деньги есть — хватит на всех.

— И? — Скар замер. Не дышал.

— Операция нужна. Пятьдесят миллионов. У вас есть двадцать пять, так?

— Откуда ты знаешь? — Скар почти выкрикнул. — Кто тебе сказал? Катя? Она никому не говорила. Савча? Он никому не говорит. Я? Я — тем более.

— Я же сказал — деньги, — спокойно ответил Колян. — Они всё знают. Или почти всё. — Он выдохнул дым, и Скар представил, как серое облако расплывается под потолком. — Слушай, Скар. Деньги на операцию я дам. Все. Пятьдесят миллионов. Кредит, который Савча взял в банках — закрою. Лечение, реабилитация, перелёты — всё на мне. Но есть условие.

Скар замер. Сердце колотилось где-то в горле, в висках, в кончиках пальцев.

— Какое? — спросил он.

— Ты должен вернуться в Зону. Забрать кое-что для меня.

— Что именно?

— Артефакт. «Сердце Зоны». Ты слышал о таком? Старожилы рассказывают, те, кто ещё с первых ходок.

Скар усмехнулся — коротко, безрадостно.

— Легенда, — сказал он. — Байка, которой пугают новичков у костра. Его никто не видел. Никто не держал в руках. Никто не знает, существует ли он на самом деле.

— Его видели, — спокойно возразил Колян. — Или почти видели. Те, кто видел, не вернулись. Кроме одного — Стрелка. Но Стрелок молчит, как рыба об лёд, ты же знаешь.

— Он помолчал. — «Сердце» в старом бункере под ЧАЭС. Метров тридцать под землёй, в заброшенной лаборатории, которую построили ещё до аварии, в семидесятые. Я знаю, что ты бывалый. Ты там был, когда Выжигатель ещё работал и жёг мозги каждому, кто подходил ближе чем на километр. Ты справишься, Скар. Я в тебя верю.

— Зачем тебе «Сердце»? — спросил Скар. — Ты и так богат. Нефть, лес, недвижимость.

— Деловой интерес, — ответил Колян. — И не твоё дело, если честно. Ты мне приносишь артефакт — я плачу за операцию. И сверху — десять миллионов тебе лично. За беспокойство, за риск, за старую дружбу.

Скар думал недолго. Секунду. Может, две.

— По рукам, — сказал он. — Когда?

— Слово держишь?

— Держу. Как в Чечне.

— Тогда завтра утром деньги переведу. На счёт больницы, на счёт Савчи, на счёт Кати — куда скажут. — Колян снова затянулся. — А ты — собирайся. Снаряжение, оружие, карты. Помнишь, где Кордон?

— Помню.

— И Скар... — Голос Коляна стал жёстче, будто он включил другую передачу. — Будь там осторожен. «Монолит» зашевелился. После того, как Выжигатель отключили, они стали смелее. У них новые проповедники, новые секты. Они ищут «Сердце» так же, как я. Если они найдут его первыми — беда. Не только для нас. Для всех.

— Они его не найдут, — сказал Скар. — Я успею раньше.

— Я тоже так думаю. — Колян вздохнул. — Ладно, старый друг. Созвонимся. И не сдохни там. Ты мне нужен живым. Долги отдавать.

В трубке раздались гудки. Скар сидел ещё долго, глядя на автомат на стене, на его короткий ствол, на магазин, примотанный синей изолентой к цевью, на потёртый приклад, который помнил и Афган, и Чечню, и двадцать ходок в Зону. Потом достал КПК — старый, потрёпанный, с трещиной на экране и выцветшими кнопками, — написал Савче сообщение: «Деньги на операцию есть. Москва переведет уже завтра. Не ссы, всё будет. Лечи сына». Ответ пришёл через минуту — Савча никогда не спал по ночам, особенно в последнее время: «Какие деньги? Кто перевёл? Ты что, ограбил банк? Скар, не влезай в криминал, я прошу!» Скар усмехнулся. Написал: «Потом расскажу. Главное — лечи сына. И не вздумай лезть в Зону. Я сам всё сделаю».

«Что ты сделаешь?» — ответил Савча.

«Всё, что нужно. Спи».

Скар выключил КПК, отложил в сторону. Он не спал всю ночь. Смотрел в потолок — белый, голый, с паутиной в углах, с трещиной, похожей на карту местности. Слушал, как за стеной сосед сверлит бетон — даже в час ночи, даже в пустой квартире, даже в воскресенье, этот парень работал, строил свою новую жизнь из двух однушек. И думал о Зоне. Зона ждала. Как ждала всегда. Как ждала его в первый раз, когда он перелез через забор в 2006-м, молодой, злой, глупый, с самодельным детектором на поясе. Как ждала после каждой ходки, когда он клялся, что это последняя. Как ждала сейчас, когда он клялся, что уже никогда. Зона всегда ждала. И она была терпелива.

Глава 2

Лето 1984 года. Украинская ССР, небольшой городок N. Детский дом № 7.

Они познакомились, когда обоим было по десять лет. Детский дом № 7 стоял на окраине города, заросший старыми клёнами и акациями. Здание — трёхэтажное, из красного кирпича, с облупившейся штукатуркой и выбитыми стёклами на четвёртом этаже (туда запрещали ходить, но дети всё равно лазили). Внутри пахло казённым — дешёвым мылом, кипячёным молоком, хлоркой и страхом. Страхом, который въедался в стены, в одежду, в поры. Денис — тогда ещё не Скар, просто Денис Шевцов — попал сюда в шесть лет. Мать оставила его в роддоме, отец был неизвестен. Так и написали в личном деле: «Отказной». Он рос тихим, замкнутым, смотрел на мир исподлобья, не доверял никому. Дрался редко, но жестоко — если уж бил, то бил до крови, до потери сознания. Воспитатели вздыхали и писали в характеристиках: «Склонен к агрессии. Требуется коррекция». Алексей Савченко попал сюда в восемь, когда его мать — единственный близкий человек — умерла от рака. Отец ушёл из семьи, когда Алексею было три. Он не помнил его лица. Только запах — табак и дешёвый одеколон. Алексей был другим. Он был открытым, разговорчивым, любил читать вслух и рассказывать сказки младшим. Но внутри у него тоже жила тьма — он просто не показывал её другим. Боялся, что прогонят.

Они встретились в столовой. Детдомовская столовая — это отдельный мир. Длинные столы, за которыми сидят по десять человек. Тарелки с алюминиевыми ложками. Запах перловой каши, которая пригорала к кастрюле. И тишина — дети ели молча, потому что разговоры во время еды считались нарушением дисциплины и карались нарядом по кухне. Денис сидел в углу, за последним столом, один. Он всегда сидел один. Вокруг него было пустое пространство — никто не хотел с ним сидеть, потому что боялись. «Шрам» — так его прозвали старшие ребята, показывая пальцами на рассечённую бровь и щёку. Он упал с крыльца в четыре года, ещё до детдома, и шрам остался на всю жизнь — белый, глубокий, от виска до подбородка, как молния. Алексей взял свою тарелку и сел напротив.

— Свободно? — спросил он.

— Нет, — ответил Денис.

— А кто сидит?

— Никто.

— Тогда свободно, — Алексей положил ложку и начал есть.

Денис смотрел на него — удивлённо, настороженно, не понимая. Никто не садился с ним. Никогда.

— Ты чего? — спросил он.

— Есть хочу, — ответил Алексей. — Больше нигде.

Враньё. Свободных мест было полно. Но он сел именно с Денисом. Так началась их дружба. Тот же день, вечер. Спальня на третьем этаже. Койки стояли в ряд — железные, с продавленными сетками и тонкими матрасами. На окнах — решётки. За окнами — сумерки, синие, густые, с редкими звёздами. Где-то в городе лаяла собака, и этот звук казался Денису единственным настоящим во всём мире. Он лежал на спине, смотрел в потолок. Не спал. Никогда не спал в детдоме спокойно. Каждую ночь ему казалось, что кто-то придёт — воспитатель с ремнём, или старшие ребята, чтобы побить, или просто страх, большой и мохнатый, сядет на грудь и не даст дышать.

— Ты не спишь, Шрам? — раздался голос с соседней койки.

Денис повернул голову. Алексей сидел на своей койке, поджав ноги, и смотрел на него.

— Не сплю, — ответил Денис.

— Я тоже. Дай угадаю — думаешь о том, как отсюда выбраться?

— Думаю о том, как выжить.

Алексей усмехнулся.

— Это проще. Зубы показывай — и никто не тронет.

— А если я не хочу зубы показывать? — спросил Денис. — Если я хочу, чтобы меня не боялись?

— Тогда стань сильнее всех, — Алексей пожал плечами. — Чтобы тебя боялись по-другому. С уважением.

— Как?

— Я ещё не придумал. Но когда придумаю — скажу.

Они замолчали. За окном собака перестала лаять, и тишина стала полной — такой плотной, что можно было резать ножом.

— Слушай, Шрам, — сказал Алексей. — А у тебя есть мечта?

— Мечта? — Денис помолчал. — Нет. У меня нет мечты.

— А у меня есть. Я хочу быть военным. Как десантник. Чтобы прыгать с парашютом, стрелять из пулемёта и ездить на БТРе.

— Глупо, — сказал Денис.

— Почему?

— Потому что нас в армию не возьмут. У тебя астма, у меня — шрам. В военкомате завернут.

— Завернут — значит, поступим в училище. Будем умными. — Алексей говорил так, будто это было решено уже давно. — Вместе.

— Вместе? — Денис поднял бровь.

— Вместе. Я тебя не брошу. И ты меня не бросай.

Денис долго молчал. Потом сказал:

— Договорились.

Они пожали руки через проход. Детские ладони, худые, в царапинах, с обкусанными ногтями. Но пожатие было крепким — до хруста в пальцах. С этого момента они стали неразлучны.

Полгода спустя. Зима 1985 года. Драка у школьных ворот.

Старшие ребята — пацаны лет по четырнадцать — подкараулили Дениса после школы. Он возвращался один, свернув за угол, и тут же получил в лицо — грязным, мокрым снегом, в котором намешали камней.

— Эй, Шрам, куда прешь? — первый, лысый, с золотым зубом, толкнул его в грудь. — Забыл, кто тут главный?

Денис упал в сугроб. Засмеялись. Пятеро — все выше его на голову. Он встал. Медленно. Не торопясь. Встряхнулся, как пёс, сбрасывая снег с куртки.

— Не трогайте меня, — сказал он тихо.

— А то что? — оскалился второй.

— А то будет больно.

Лысый заржал и занёс ногу, чтобы пнуть его. Но Денис успел раньше — схватил снег, полный камней, и швырнул в лицо ближнему. Тот взвыл, схватился за глаза. Денис ударил следующего коленом в пах, третьего — локтем в висок. Дрался он грязно, как учили улицы — без правил, без жалости. Но их было пятеро. А он — один. Его повалили на землю, начали бить ногами. По спине, по голове, по рукам. Денис свернулся клубком, защищая лицо, и терпел. Он умел терпеть. Научился в детдоме.

— Отвалите от него! — раздался голос.

Алексей выскочил из-за угла с палкой в руках — старой, толстой, с гвоздём на конце. Ударил первого, потом второго, замахнулся на третьего. Бил не глядя, но с такой яростью, что старшие отступили. Он был ниже их на полголовы и тощий, как щепка. Но он ничего не боялся.

— Ещё раз к нему подойдёте — я вас найду, — прошипел Алексей. — И прибыю. Гвоздём. В глаз.

Они ушли. Плюнули, выругались, пригрозили, но ушли. Алексей опустился на колени рядом с Денисом.

— Живой?

— Живой, — ответил Денис сквозь сжатые зубы.

— Вставай.

Он протянул руку. Денис взял её — грязную, с разбитыми костяшками.

— Ты чего влез? — спросил Денис, поднимаясь. — Они бы и тебя побили.

— А ты чего не позвал?

— Не успел.

— Врёшь. Не хотел, чтобы я влип.

Денис промолчал.

— Слушай, Шрам, — сказал Алексей серьёзно. — Мы теперь вместе. Я запомнил. Ты — запомнил. Никто из нас не будет один. Договорились?

— Договорились, — ответил Денис.

И снова пожали руки. На этот раз — уже не детские, а почти взрослые.

1987 год. Военное училище. Поступление.

Они уехали из детдома вместе, как и обещали. Поехали в областной центр, в суворовское училище. Экзамены сдавали тяжело — Денису снижали баллы за шрам («неуставная внешность»), Алексею — за астму («неполная физическая пригодность»). Но они упёрлись, как танки.

— Я буду военным, — сказал Алексей на медкомиссии. — Даже если вы мне откажете, я всё равно пойду. В армию. В наёмники. В Зону. Не важно.

Врач посмотрел на него — худого, бледного, но с горящими глазами.

— Упрямый, — сказал он. — Ладно. Пиши заявление.

Дениса приняли со второй попытки — за месяц до этого он попросил одного солдата-срочника, который стоял в охране училища, научить его драться. Солдат научил — армейскому рукопашному бою. Денис оказался способным учеником. На второй комиссии он простоял в планке пять минут, отжался сто раз и пробежал километр за три с половиной.

— Это тот самый отказной со шрамом? — спросил полковник, листая его дело.

— Тот самый, — ответил врач.

— Принимайте.

Они въехали в училище в один день. Сели в одном купе поезда — Денис у окна, Алексей напротив. За окном мелькали поля, леса, деревни. Где-то далеко — уже детдом, который они поклялись забыть.

— Слышишь, Скар, — сказал Алексей, глядя в окно.

— Скар? — Денис поднял бровь. — Это ещё что?

— Прозвище. От английского «scar» — шрам. Подходит тебе больше, чем «Шрам». Звучит круто.

Денис помолчал, пощупал шрам на лице — белый, глубокий, врезанный в память на всю жизнь.

— А тебя как назовём?

— Савча. От фамилии. Коротко и ясно.

— Савча, значит, — повторил Денис. — Ну что, Савча, считай, что мы теперь не просто друзья?

— А кто?

— Братья.

Алексей улыбнулся. Впервые за долгое время — по-настоящему.

— Братя, — согласился он.

Поезд шёл на восток, навстречу новой жизни.

Глава 3. Афганистан — первая проверка на прочность.

Весна 1988 года. Афганистан, провинция Кандагар. Высота 2517.

Они попали туда через год после училища — в один взвод, в одну группу. Молодые лейтенанты, только что из учебки. С картами в головах, которые ещё пахли типографской краской, и автоматами в руках, которые пахли заводской смазкой. И с той самой дружбой, которую не разорвать даже войной. Дружбой, проверенной драками в детдомовском дворе, общими синяками и разбитыми губами, общими ночами в спальне на третьем этаже, когда они шепотом делились мечтами, которых боялись произнести вслух. Скар тогда ещё не был Скарсом — для всех он был просто Денис, лейтенант Шевцов, смуглый, жилистый, с вечным шрамом на левой щеке и тяжёлым взглядом исподлобья. Шрам этот привлекал внимание — на медкомиссии военком вертел его голову так и этак, цокал языком: «С таким лицом, лейтенант, в разведку не суйся — приметный». Скар тогда промолчал. А через месяц в разведку сунулся — и вернулся. Савча — Алексей Савченко — был его тенью и антиподом одновременно. Говорливый, открытый, с вечной полудетской улыбкой, которая раздражала старших по званию. «Савченко, убери улыбочку! — орали на построениях. — Война, а не танцы!» Он убирал — ровно на секунду. А потом улыбался снова, потому что не умел иначе. Но за этой улыбкой пряталось то же, что и у Скара: детдом, сиротство, пустота внутри, которую можно заполнить только верностью. Верностью тем, кто рядом. Их направили в 345-й отдельный гвардейский парашютно-десантный полк — тот самый, который штурмовал дворец Амина в 79-м. К тому времени полк стоял под Кандагаром, в горах, на высоте, которую солдаты прозвали «Горло дьявола». За крутой нрав, за обстрелы, за то, что каждый день здесь мог стать последним.

База стояла на высоте двух с половиной тысяч метров. Воздух здесь был разреженным, холодным — не таким, как внизу, в пустыне. Он обжигал лёгкие при быстром движении, заставлял сердце биться чаще, быстрее, будто оно пыталось вытолкнуть из груди лишнюю тяжесть. Пахло пылью — мелкой, жёлтой, которая проникала всюду: в спальники, в еду, в лёгкие, в автоматы, заклинивая затворы. Пахло соляной кислотой — из бочек, которые стояли в ряд у штабной палатки, обгоревших на солнце, с выцветшими трафаретами «ОСТОРОЖНО ОГОНЬ». И кровью — не свежей, старой, вьёвшейся в доски полевого госпиталя, в бинты, которые сушились на верёвках, в песок у въезда, где три дня назад подорвался на mine «Урал» и трое не доехали. Днём солнце пекло так, что плавилась резина на подошвах. Скар помнил, как в первый день наступил на камень, а ботинок прилип, и он дёрнул ногой, оставив кусок подошвы на раскалённом граните. Воздух дрожал над землёй, как над костром, и фигуры людей в ста метрах казались призраками, колеблющимися в мареве. Ночью же температура падала до минуса — резко, будто кто-то выключал тепло. Зубы стучали даже в спальниках — не от страха, от холода, который проникал сквозь ткань, сквозь форму, сквозь кожу, добирался до костей и сидел там до утра. «Афганский синдром» — потом это назовут психологи. Скар тогда не знал этого слова. Знал только: день — ад, ночь — ледник. Между ними — короткие, как выдох, сумерки, когда небо полыхает багровым и кажется, что горит весь мир.

Скар и Савча сидели на броне БТР-80, свесив ноги. Броня ещё хранила дневное тепло — слабое, уходящее, как жизнь из тяжелораненого. Резина на траках пахла горелой серой. Где-то внизу, в кишлаке, мерцали редкие огоньки — может, костры, может, фары машин, может, просто оптический обман. Внизу, в кишлаке, было тихо. Но тишина в Афгане всегда означала, что где-то затаилась засада. Скар это знал. Савча знал. Все знали. Тишина здесь была не мирной — она была хищной, выжидающей, затаившейся перед прыжком. Где-то в горах, за валунами, в дувалах — глинобитных стенах, которые не брала даже броня, — сидели люди с ДШК и РПГ. И ждали. Савча курил — «Приму», вонючую, крепкую, без фильтра. Табак был чёрным, как

уголь, и дым от него вился густой, едкий, оседал на одежде, на лице, на пальцах. Скар не курил — берег лёгкие, хотя знал: в этой пыли всё равно сгоришь через пять лет, через десять, но не сразу. Он смотрел на звёзды. Они здесь были огромными, яркими, будто кто-то рассыпал алмазы по чёрному бархату. На гражданке он никогда не видел таких звёзд — там они были мелкими, бледными, засвеченными огнями городов. Здесь, в горах, на высоте двух с половиной километров, небо дышало. Оно было живым, близким, почти осязаемым. Скар подумал: «Если протянуть руку — достану». И не дотянулся бы, конечно. Но хотелось верить, что где-то там, над этим адом, есть что-то чистое и вечное.

— Слышь, Скар, — сказал Савча, выпуская дым в звёздное небо. — А ты боишься?

— Чего? — не оборачиваясь, спросил Скар.

— Умереть.

Скар долго не отвечал. Ветер шевелил его короткие волосы — стрижка ёжиком, под ноль, по-солдатски. Шрам на лице, подсвеченный луной, казался белым, как шнурок, вшитый под кожу. Пульсировал — или показалось? — в такт сердцу.

— Не думал, — соврал он.

— Врёшь, — Савча усмехнулся — коротко, беззлобно, как брат, который знает тебя лучше, чем ты сам. — Все думают. Если говорят, что не думают — либо дураки, либо мертвецы.

— А я кто?

— Ты — упрямый. — Савча затянулся, закашлялся — табак ударил в горло, прогремело в груди, как из пулемёта. Откашлялся, сплюнул чёрную слюну вниз, в темноту. — И поэтому я с тобой.

— А я боюсь, — признался Савча. Голос его стал тише, будто он говорил сам с собой, а Скар просто оказался рядом. — Не смерти. Ну её, смерть. Придёт — встретим. А того, что не успею.

— Не успеешь — во что? — Скар повернул голову, посмотрел на друга. Профиль Савчи на фоне звёзд был резким, молодым, почти мальчишеским — без морщин, без седины, без той тяжёлой усталости, которая появится позже, в Чечне, в Зоне. Сейчас он был просто пацаном в форме, который приехал на войну из детдома, потому что больше ему идти было некуда.

— Жизнь прожить. — Савча затушил окурочок о броню, примял пальцами, чтоб не тлел. — Семью завести. Жену любить. Сына родить. Дом построить. Всё, как у людей.

— Ты о Катке? — спросил Скар.

Савча молчал секунду. Потом кивнул.

— Она в госпитале, медсестра. Я её на медкомиссии увидел, когда оформлялся после училища. Она иглку в вену ставила — рука не дрожала, знаешь? Такие руки не врут. — Он посмотрел вниз, в темноту кишлака, будто надеялся увидеть там её лицо. — Напишу ей. Если вернусь.

— Когда вернёшься, — поправил Скар.

— Когда, — согласился Савча.

Скар снова посмотрел на звёзды. И сказал то, во что сам не верил, но должен был сказать — чтобы Савча поверил:

— Успеешь. Мы отсюда все живыми уйдём.

Савча посмотрел на него. Взгляд был долгим, изучающим, с той особой серьёзностью, которая бывает у людей, когда они решают — верить или не верить.

— Слышишь, Скар, — сказал он. — Ты это... не ври мне больше. Ладно?

— Договорились.

Они стукнулись кулаками. Железо по железу, костяшки хрустнули — но боли не было. Или была, но не важна.

Они не ушли все. Взвод потерял трёх человек за две недели. Первый — сержант Кравченко, «Крава», здоровенный мужик с Урала, с руками-клевнями и доброй, медвежьей улыбкой. Он наступил на мину, когда менял батареи в радиации — отошёл на два шага за камни, и земля взорвалась под ним. Скар помнил: сначала хлопок — глухой, негромкий, не такой, как в кино. Потом крик. Кравченко не кричал громко — он выл, низко, по-звериному, и выл долго, минут пять, пока фельдшер не вколол ему промедол прямо через штанину, не раздевая.

Ногу оторвало выше колена. Кравченко выжил — но уже не воевал. Отправили в Ташкент, потом в Союз. Скар через много лет узнал: Кравченко работал сторожем на хлебозаводе,пил горькую и ни с кем не разговаривал. В Зоне Скар иногда вспоминал его — когда сам терял ногу в переносном смысле.

Второй — рядовой Соловьёв, восемнадцать лет, из детдома, как они. Худой, звонкий, вечно смеющийся. В него попали из ДШК — пуля 12,7 мм, крупнокалиберная. Скар нёс его тело к вертолёту. Оно весило килограммов пятьдесят — парень был тощим, как жердь. Но в руках Скар держал тонну. Казалось, что он тащит не тело, а весь тот недожитый срок, который мог бы быть — школа, любовь, работа, дети. Которых не будет.

Третий — лейтенант Морозов, командир взвода. Свои звали его «Дедушка» — в двадцать пять лет, за седину, которая появилась за первый месяц в Афгане. Шальная пуля, случайная, навывлет через шею, когда он курил в проёме палатки. Просто сидел, курил, смотрел на звёзды — и всё. Пуля нашла его сама, без прицела, без злобы. Просто пролетала мимо и решила: «А вот этот — мой».

Скар плохо спал после этого. Всё смотрел на звёзды и гадал — а какая из них летит в него?

Скар и Савча несли их тела к вертолёту — подносили, укладывали на носилки, застёгивали ремни. Руки не дрожали — рефлекс, выучка. Но внутри что-то сжималось, твердело, превращалось в камень.

Скар запомнил вес. Шестьдесят, может, семьдесят килограммов — но в руках как тонна. И запах — крови, пороха и страха. Страх, который не пахнет — он чувствуется иначе, на уровне позвонков, на уровне неба, на уровне той самой животной части мозга, которая знает только одно: беги или умри.

Засада в ущелье. 8 мая 1988 года.

Они шли колонной — три БТРа, два «Урала» и БМП. Дорога петляла по ущелью, стены которого нависали сверху, как челюсти великана. Скалы были красными, рыжими, будто пропитанными кровью — и наверное, так оно и было. За эти годы крови здесь пролилось столько, что земля пропиталась ею насквозь.

Скар сидел в головной машине, у пулемёта ПКТ — спаренного, на турели, с лентой на 250 патронов. Ладони вспотели, пальцы затекли — он сжимал рукоятки слишком сильно, сам того не замечая. Смотрел на скалы — вверх, вправо, влево, снова вверх.

Глаза щипало от пыли, которую поднимали колёса впереди идущей техники. Респиратора не было — только тряпка, повязанная на лицо, мокрая от пота, пропускающая воздух, но не песок. Песок был везде: во рту, в ушах, в волосах, в патронах, в механизмах.

Савча вёл третий БТР — сидел в броне, в духоте, слушал рёв двигателя и ждал. Как все. Как всегда.

Взрыв разорвал тишину.

Первый БТР — тот, что шёл перед Скаром, — подбросило вверх, как игрушку. Скар увидел, как машина оторвалась от земли, перевернулась в воздухе — медленно, почти грациозно, будто танкер в шторм — и рухнула набок. Лязг металла, звон разбитого стекла, крики. Потом огонь — пламя вырвалось из люков, жёлтое, жадное, с чёрным дымом.

— Фугас! — крикнул кто-то по рации. — Засада!

Следом ударили из гранатомётов — по «Уралам», по БМП, по тому месту, где только что стоял первый БТР. Два РПГ влетели в борт второго «Урала» — машина вспыхнула факелом, дым пошёл чёрный, плотный, с едким запахом горелой резины и пластмассы.

— Засада! — повторилось по рации. — Выходим! Всем выйти из машин! Рассредоточиться!

Скар спрыгнул с брони, не выключая пулемёт — просто откинулся назад, перевалился через борт, упал на землю, перекатился за камень. Колено ударилось о камень, ободрал кожу через штанину — но боли не почувствовал. Автомат к плечу — длинными очередями по скалам, туда, откуда летели РПГ и свинец.

Он стрелял по вспышкам — учили так: видишь огонёк, бей туда. Не целишься, просто направляешь ствол. Красные трассеры уходили вверх, в серое небо, в скалы, и Скар надеялся, что хотя бы один из них нашёл цель.

Савча вылез из БТРа через верхний люк — не через боковой, потому что боковой заклинило от первого же попадания. Вывалился наружу, упал на спину, вскочил, лёг рядом с камнем, задышал часто и шумно.

— Ты цел? — крикнул Савча. Голос срывался, тонул в грохоте выстрелов.

— Цел! Прикрой!

Скар побежал. Зигзагом, пригибаясь к земле, не поднимая головы. Пули свистели над головой — Скар слышал их: тонкий, звенящий звук, будто рвутся струны на гитаре, и после — глухой удар о камень, о землю, о броню. Пули дробили камни в крошку, высекали искры, заставляли гранитную пыль взвиваться в воздухе.

Он бежал к подбитому «Уралу». Машина горела, дым валил из-под капота, стёкла были выбиты. Из кабины кто-то кричал — истошно, по-звериному, так кричат только когда боль сильнее страха смерти.

Скар дёрнул дверь — заклинило. Ударил ногой — раз, другой, третий, — дверь поддалась. Протиснулся внутрь, схватил раненого водителя за лямки бронезилета — парень лет девятнадцати, с детским ещё лицом, с пробитой ногой. Кровь фонтанировала — артерия? Нет,

венозная, тёмная. Из бедра, выше колена, чуть выше, где большая артерия проходит — но не задета. Повезло.

Перетащил его в укрытие — за большой валун, где уже лежали двое, один с перебинтованной головой, второй с оторванным пальцем.

— Держи! — крикнул Скар и наложил жгут — резиновый, армейский, который всегда был за поясом, под рукой. Парень закричал громче — жгут пережал всё, боль стала невыносимой. Но это жизнь. Или нога.

Скар затянул жгут до упора, вставил палочку, закрутил на пол-оборота. Кровь остановилась.

— Спасибо, — прошептал парень. Губы его были синими, глаза — огромными, как у испуганного ребёнка.

Скар не ответил. Уже бежал обратно.

Бой длился сорок минут. Сорок минут ада — пороховой гари, свистящих пуль, разрывов гранат, криков «Санитара!», «Триста тридцатый!» — кодов ранений по уставу. Сорок минут, за которые Скар успел разрядить три магазина, вытащить из-под огня двоих раненых и подстрелить одного «духа» — того, кто целился в Савчу из-за валуна.

Он не помнил, как нажал на спуск. Просто увидел: чёрный силуэт, ствол РПГ на плече, наводка в сторону Савчи. Нажал. Короткая очередь — три пули. Силуэт исчез.

Потом, когда всё кончилось, он понял, что это был первый человек, которого он убил в этой войне. Не первый в жизни — до этого были учебки, полигоны, спортивные стрельбы. Но первый живой, который стоял и смотрел на него, прежде чем пуля вошла в грудь.

Скар не знал, что чувствовать. И не чувствовал ничего. Пустота.

Потеряли пять человек. Один БТР. Один «Урал». Трое раненых — тяжёлых, с эвакуацией вертолётном.

Ночью, на привале, Скар сидел у костра. Костёр был маленьким, почти без дыма — засветиться нельзя, горы вокруг, и в горах враг видит огонь за десять километров.

Огонь был живым, беспокойным, лизал сухие ветки, перепрыгивал с одной на другую, шипел и потрескивал. Скар смотрел на него, не мигая. Веки слипались от усталости, но он не закрывал глаза — потому что стоило закрыть, как он снова видел того «духа». Силуэт, ствол, свои пальцы на спуске. И пустоту после.

Руки тряслись. Мелко, противно, не от страха — Скар не боялся, уже нет, — от переизбытка адреналина. Организм выработал столько этого гормона за последние часы, что хватило бы на трое суток непрерывного боя. Теперь он выходил вот так — тряской, холодным потом, желанием курить (хотя Скар не курил) и странной, животной тоской по чему-то тёплому и безопасному.

Савча подсел рядом. Не спросил, можно ли. Просто сел — и сразу стало легче. Хотя Скар не признал бы этого даже себе.

— Пей, — сказал Савча, протягивая флягу.

Скар взял. Фляга была тёплой от тела, в ней хлюпала жидкость. Он отхлебнул — спирт, разбавленный водой, горький, почти неразбавленный, разве что чуть-чуть, чтобы не обжечь глотку. Спирт обжёг нёбо, прошёл в грудь горячей волной, и тряска в руках чуть утихла — или показалось.

Скар сделал ещё глоток. Вернул флягу.

— За тех, кто не вернулся, — сказал он. Голос был сухим, безжизненным, как пыль на дороге.

— За них, — повторил Савча и тоже отхлебнул. Крякнул, вытер рот рукавом. — Морозова жалко. Хороший был командир.

— Да.

— Кравченко — ногу жалко. Он бегал быстро, ещё до войны. Говорил, на областных соревнованиях второе место занял. Теперь не побеждает.

— Да, — повторил Скар.

— А Соловьёв... — Савча замолчал. Долго сидел, глядя в огонь. — Ему восемнадцать. Он даже не жил. Ничего не видел. В армию пошёл, потому что дома жрать нечего было. Мать болела, отец пил. Он в письме писал — хотел после армии в училище поступить. На шофёра.

— Не поступит, — сказал Скар.

— Не поступит, — эхом отозвался Савча.

Помолчали. Костёр потрескивал, шипел, бросал тени на лица, на скалы, на броню БТРов, стоящих в отдалении. Где-то на посту залаяла собака — то ли своя, то ли бродячая, прибившаяся к колонне.

— Скар, — сказал Савча.

— М?

— Ты сегодня вытащил того пацана. Водителя из «Урала». Рисковал. Пули над головой свистели, а ты бежал. Зачем? Он же не свой. Не наш. Просто водитель из другого взвода.

Скар долго не отвечал. Смотрел в огонь, видел, как угли тлеют, как искры улетают в чёрное небо и гаснут, не долетев до звёзд.

— Потому что он свой, — сказал он наконец. — Потому что все, кто в колонне — свои. Потому что мне не плевать. Потому что если мы не будем вытаскивать чужих, то когда придёт наша очередь — никто не вытащит нас.

Савча посмотрел на него. Взгляд был долгим, изучающим, с той особой теплотой, которая бывает только между теми, кто прошёл через одно пекло и вышел с другой стороны живым.

— Запомни это, — сказал Савча. — И я запомню. В любой дыре. В любой Зоне. Даже если весь мир рухнет, даже если не останется ни армии, ни страны, ни правды — это останется. Мы своих не бросаем.

Они стукнулись флягами. Металл звякнул глухо, по-своему, по-армейски. Спирт плеснулся, несколько капель упало в костёр — пламя вспыхнуло ярче, на секунду осветив их лица: молодые, усталые, но живые.

— Слышишь, Скар, — сказал Савча, убирая флягу.

— М?

— А как ты думаешь, Зона — она страшнее, чем здесь?

Скар усмехнулся. Первый раз за сегодня. Уголки губ дрогнули, шрам на щеке натянулся.

— Зона — это просто место, — сказал он. — Как Афган. Как Чечня. Опасное, смертельное, но просто место. А страшное — это когда рядом нет того, кому можно доверять. Когда ты один.

Савча кивнул. Помолчал. Потом сказал:

— Ты не будешь один. Обещаю.

— Я знаю, — ответил Скар.

Они сидели у костра до утра, молча, глядя на звёзды, которые понемногу гасли на востоке, уступая место серому, тяжёлому рассвету. И ни один из них не знал тогда, что через десять лет они будут сидеть так же — в Чечне, в разбитом подвале, под обстрелом. А ещё через двадцать — в Зоне, у костра из старых поддонов, под звёздами, которые будут такими же яркими и такими же равнодушными.

Но в этот момент, в Афгане, весной 88-го, они были просто живы. И этого хватало.

Глава 4. Чечня — вторая война

Зима 1999 года. Грозный. Окраина.

Они уволились из армии в 1994-м — за полгода до первой чеченской. Не потому, что разлюбили службу, а потому, что армия разлюбила их: сокращения, реформы, неразбериха. Скар работал грузчиком на рынке, Савча — водителем на хлебозаводе. Встречались по выходным, пили водку, вспоминали Афган и делали вид, что нормальная жизнь возможна.

Но когда началась первая чеченская, они пошли добровольцами. Не могли сидеть на месте, когда там убивали людей. Просто собрали рюкзаки, купили билеты до Ростова, а оттуда — попутками до Моздока. Явились в комендатуру, показали старые удостоверения, шрамы и сказали: «Возьмите». Взяли.

Вторую войну встретили уже контрактниками — опытными, седыми, с набором орденов на гражданке, которые носили только по праздникам, и с контузиями, которые напоминали о себе в сырую погоду глухой болью в затылке и звоном в ушах.

Скар к тому времени уже потерял счёт, сколько раз смотрел в лицо смерти. Десять? Двадцать? Счёт сбился где-то после Афгана, когда он понял: смерть не выбирает, не торгуется, не смотрит на заслуги. Она просто приходит. Когда надо — или когда не надо.

Грозный в декабре 1999 года был адом. Не метафорическим, не книжным — настоящим, осязаемым, с запахом и цветом.

Город горел.

Не один дом, не квартал — весь город. Нефтебазы полыхали чёрным, маслянистым пламенем, поднимая в небо столбы дыма такой плотности, что солнце не пробивалось даже днём. Жилые дома горели ровным, жадным огнём — этаж за этажом, подъезд за подъездом, пока не обрушивались с глухим, протяжным грохотом. Боевая техника — подбитые танки, БМП, грузовики — догорала вдоль улиц, и от них тянуло горелой резиной, пластмассой и чем-то сладковатым, тошнотворным — тем, что не хотелось узнавать.

Небо было чёрным от сажи и красным от огня. Днём — серо-чёрным, с багровыми прожилками. Ночью — кроваво-красным, как рана на теле земли. Снег, выпавший в начале декабря, быстро почернел — смешался с пеплом, сажей, гарью, кровью. Он не белел уже никогда, до самой весны.

Пахло горелым пластиком — из расплавленных приборных панелей в подбитых машинах. Пахло резиной — от сгоревших покрышек, которыми боевики перекрывали улицы, чтобы танки не прошли. Пахло человеческим мясом — не каждый это различал, но Скар научился в Афгане.

Этот запах — смесь горелой свинины, железа и сладковатого, приторного дыма — нельзя забыть. Нельзя спутать ни с чем.

Они шли по проспекту Победы — или Ленина, или Мира, названия не имели значения, потому что от домов остались только номерные таблички на покосившихся стенах. Скар вёл группу — шесть человек, контрактники из разных подразделений, сведённые в штурмовую группу за три дня до этого.

Шли цепью, растянувшись на двадцать метров. Скар — первый, за ним Савча, дальше — остальные. Автоматы на изготовку, пальцы на спусковых крючках, глаза — в каждую щель, в каждую арку, в каждое окно.

Тишина. Гулкая, ватная, неестественная. Такая бывает, когда засада дышит в затылок, когда враг затаился в пяти метрах и ждёт команды. Скар слышал собственное дыхание — хриплое, с присвистом (старая контузия давала о себе знать, лёгкие работали с перебоем). Слышал шорох собственных шагов — битое стекло под подошвами, песок, гильзы. Слышал, как где-то за квартал стреляют — одиночные выстрелы, потом очередь, потом крик. И снова тишина.

Слева от дороги дымился подбитый Т-72. Танк стоял на боку, гусеница слетела, башня была развёрнута назад, ствол торчал вверх под неестественным углом — как рука человека, которого вывернули из сустава. Люки были открыты. Рядом с танком, в воронке от снаряда, лежали двое. Мёртвые — Скар видел это сразу по неестественным позам, по неестественно вывернутым рукам.

Но третий — тот, что ближе к люку, — шевелился.

Скар заметил движение краем глаза: рука, лежащая на броне, дёрнулась — и сползла вниз, ударившись о гусеницу с глухим, металлическим звоном. Потом стон — короткий, выдохнутый, как последний.

— Там живой! — сказал Скар, не оборачиваясь.

Он не раздумывал. Не потому, что был героем. Просто рефлекс — как отдёрнуть руку от огня. Увидел человека — помощи. Вопросы потом. Вопросы вообще никогда не были его сильной стороной.

— Скар, стой! — Савча схватил его за бронежилет, развернул к себе. Глаза друга были злыми, встревоженными — такими Скар не видел со времён Афгана, когда они вдвоём отстреливались от «духов» в ущелье. — Там снайпер! Я видел вспышку за теми домами, справа. Двести метров, может, сто пятьдесят. Если ты сунешься — он тебя снимет.

— А если я не сунусь — тот парень умрёт, — ответил Скар. — Ты слышал стон? У него лёгкие пробиты. Воздух выходит через рану. Такие живут минуты.

— Я прикрою, — сказал Савча после секундной паузы. Голос стал спокойным, деловым, командирским. — На счёт три бежишь. Я даю очередь по окнам — он заляжет. У тебя — десять секунд. Не больше.

— Хватит.

Савча кивнул. Поднял автомат, прижал приклад к плечу, выдохнул. Скар присел, напряг мышцы — ноги, спину, руки, готовясь рвануть с места.

— Раз, три! — крикнул Савча и нажал на спуск.

Очередь — длинная, почти вся обойма — ушла в сторону домов, туда, где за темными провалами окон мог прятаться снайпер. Пули застучали по стенам, выбивая штукатурку и кирпичную крошку.

Скар рванул.

Пять секунд бега по открытой местности показались ему вечностью. Он бежал зигзагом — вправо, влево, вправо, — пригибаясь так низко, что почти касался руками земли. Сердце колотилось где-то в горле, в ушах звенело от выстрелов Савчи. Ноги скользили по битому стеклу, по мокрому от крови и масла асфальту.

Пуля просвистела у самого уха — Скар услышал этот звук, тонкий, как струна, и пригнулся ещё ниже. Вторая ударила в землю в двух метрах слева, взметнув фонтанчик чёрной земли и битого кирпича.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.